

Е. Н. ИВАХНЕНКО,
Л. И. АТТАЕВА

Приключения неартикулированного интеллекта

В статье рассматривается проблема соотношения артикулированного и неартикулированного мышления. Основу составляют несколько предметных слоев: философия, наука, поэзия и снова философия. Рассматриваются два интеллектуальных русла. Одно, в котором язык (1) приравнивается к мышлению, другое, в котором он (2) рассматривается как фактор деструкции мысли. Авторский интерес направлен прежде всего на укорененную в акте мышления его неартикулированную составляющую. В посткритической философии науки эта проблема раскрывается (3) в концепции молчаливого знания, а в истории философии — (4) в опыте обращения к внутреннему катафасису.

В целом в статье дается попытка ответить на вопрос: *как возможно непроговариваемое в мышлении?* То есть речь идет об онтологической возможности того, что стоит за непроговариваемым мысли.

1. Лингвоцентризм. Направление интеллектуального русла XX века, в котором мышление отождествляется с языком (а мир человека — с миром его языка), было задано «Логико-философским трактатом» Л. Витгенштейна (1921). Первейшая задача философии, согласно Витгенштейну, состояла в установлении границы мыслимому со стороны самого мыслимого. Словом (и буквально — словом), мыслимое отгораживается от того, что невыразимо в языке: «Все то, что должно быть мыслимо, должно быть ясно мыслимо. Все то, что может быть сказано, должно быть ясно сказано...». Но как быть с тем, о чем невозможно говорить? Ответ Витгенштейна предельно прост: «О том следует молчать»¹. Иначе говоря, знание мы можем выразить, только пользуясь возможностями формальной системы того языка, на котором мы говорим.

В 20–30-х годах XX столетия участники Венского кружка (М. Шлик, Г. Ганн, О. Нейрат, Р. Кар-

нап, Ф. Франк, и др.) предприняли попытку использовать тезисы Л. Витгенштейна для устранения «анархии философских позиций» и осуществления «поворота в философии». «Анархия», по выражению М. Шлика, порождена постановкой в предшествующих философских системах «абсурдных целей», к которым они также относили стремление *высказывать невысказываемое*: качества не могут быть высказаны, они могут быть лишь показаны в опыте.

Поскольку знание является знанием лишь в силу его формы, постольку научный статус могут иметь те и только те утверждения, которые соответствуют правилам логического синтаксиса — «наука занимается истинностью предложений». Задача философии — определение того, что «истинные предложения» на самом деле означают. Означение же представлялось как установление связи языка с миром, о котором язык говорит (Р. Карнап). На этом пути неопозитивисты столкнулись с трудностями, которые оказались непреодолимыми и в конечном итоге стали причиной глубокого кризиса всей идеологии Венского кружка.

Но если в 20–30-е годы XX века на первый план выступал предметно-объектный уровень исследования языка, то «лингвистический поворот» 60–70-х годов (Ж. Дерида, Р. Барт, Ж. Бодрийар и др.) позволил перенести рефлексию на сами *приемы* анализа объектов. Теперь уже язык представляется не как средство понятийного постижения объектов, а как начало, которое само навязывает структуру объектам и бытию в целом. Отсюда социальный опыт определяется как то, что «мыслится через язык».

Язык выступает непосредственным участником формирования логических структур нашего мышления. Последовательная рефлексия сменяющих друг друга актов мышления позволяет усмотреть факт диктата языка. Но является ли зависимость мышления от языка полной и деспотической? И. Бродский в своей Нобелевской лекции отвечал на этот вопрос вполне утвердительно: не язык является инструментом поэта, а он сам — средством продолжения языка. Язык, по Бродскому, есть самоопределяющееся начало, длящая себя во времени субстанция, которая «всегда сегодня», тогда как всякая формализация — система, структура, форма общественного устройства — «всегда вчера». Поэт *неосмысленно* подчинен стихии языка. Так что, «начиная стихотворение, он, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал»².

В лингвоцентризме власть языка осуществляется в двух направлениях — вовне (смысловая структура действительности) и вовнутрь (логическая структура мышления субъекта). Последнее отчетливо проявляется, к примеру, в свойственных любой форме политической демагогии ритмических заклинаниях по типу «миссия войск США и союзников по установлению демократии в Ираке» (аналогично в недавнем прошлом: «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане» или «выполнение интернационального долга»). Вплетение в языковую практику «воляпюка», мертвых слов, слоганов (из рекламных роликов, например) обращается *надувательством субъекта* как в значении самообмана, так и в значении топологическом — увеличения объемов бессмысленности, пустот в мышлении. Состояние «бездумного» употребления слов подводит к трагическому для всей личности перехвату управления мышлением субъекта «другими».

Субъект незаметно для самого себя перестает жить собственной жизнью и воспроиз-

водит «чей-то» опыт проживания. Даже неточность словоупотребления («попадание между клавиш») растождествляет субъекта с самим собой, отменяет его реальность, заставляя двигаться по магнитным линиям бесконечных языковых ловушек: «Дьявол играет нами, когда мы мыслим неточно» (М. Мамардашвили)³. Но обойти дьявольские ловушки возможно. Для этого необходимо не только труд по самоочищению от «воляпюка», но и по доведению актов мышления до ясного свидетельского состояния своего сознания. Такой труд — *дело* философа и философии.

Итак, поэт повествует о неосмысленном в подчинении языку как факторе продуктивном, философ — об опасности перехвата управления мышлением как результате неосмысленности, порожденной расслабленным бездумьем. Если выстроить цепочку уточнений, то в конце проявится, что усматриваемое поэтом «неосмысляемое» подчинение деспотии языка не совсем то (и совсем не то), что определял философ как дьявольский перехват управления, порожденный бездумным употреблением мертвых слов. Но задача статьи иная. Будем ей следовать.

2. Критика языка. *Спасение от самовластия языка* — так определяется Фрицем Маутнером цель написания его трехтомной «Критики языка» (1901–1902). Роль языка в формировании мышления представляется ему с отрицательной стороны. Слово не способствует пониманию мира, так как «наша речь ничему не соответствует», а наш опыт переживания всегда на шаг опережает язык, и никакое языковое выражение не может его переработать. Язык по отношению к уникальности мышления всегда деструктивен: «Мой моментальный опыт уникален, — пишет Маутнер, — но как только я даю ему имя и помещаю в хранилище памяти, уникальность его улетучивается... Истинное познание мира осуществляется в непередаваемом в словах и мыслях опыте, оно — немое переживание»⁴.

На Маутнера глубокое воздействие оказали лекции и сама личность Э. Маха, с кото-

рым он познакомился за 30 лет до написания главного труда своей жизни. По Маху, наука позволяет только описывать действительность, но не объяснять ее («теория не способна что-либо объяснять, она годится только для описания»). Язык, речь (письменная и устная) есть основное и незаменимое *средство* описания и передачи мысли. Из чего следует, что без языка, как средства передачи мысли, нет и быть не может самого мышления. И только в таком значении, по Маху, «мышление и есть речь». Ф. Маутнер соглашается с этим ровно настолько, насколько речь служила прошлому, но не будущему человечества. Мышление, по его мнению, до тех пор, пока оно остается лишь речью доходит до объяснения и понимания. Свою книгу он открывает первым предложением из Евангелия от Иоанна («В начале было слово») и добавляет к нему: «Имя, слово, люди стоят лишь в начале познания мира и там останутся, если не отринут слово».

Не оцененный по достоинству при жизни автора, а сегодня известный только узкому кругу специалистов, трехтомник Ф. Маутнера представляет собой яркий манифест лингвокритического направления философии и эпистемологии XX века. Он был опубликован за шесть лет до начала первого (1907) из трех курсов лекций Ф. де Соссюра и за двадцать лет до выхода в свет «Логико-философского трактата». Есть все основания полагать, что Соссюру и Витгенштейну «Критика языка» была хорошо известна, а в некоторых своих положениях они непосредственно отталкивались от размышлений ее автора⁵.

Но вернемся к поэтической автореференции. Когда поэты рефлектируют собственное творчество, то это позволяет получать свидетельства самого близкого из возможных сближения двух стихий — мышления и слова. Зазор между ними сокращается до предельно малой величины, но никогда не исчезает вовсе. Сама их предельная близость порождает драму неустрашимого разделения мышления (ментальности, включающей в себя невыразимое) и речи (слова, языка).

Напор с обеих сторон никак не колеблет константность зазора, его малую, но, подобно постоянной Планка, неизменную и фундаментальную для всего опыта мысли величину. М. Хайдеггер определил мышление как то, что «должно стихослагать над загадкой бытия»⁶. Причем стихослагать, по Хайдеггеру, должно без оглядки на одно реальное условие отношения языка к бытию: бытие «не дается» исчерпывающему прояснению в языке или идее и не раскрывается, подобно обнаруженным в опыте регулярностям, в виде закона или теории.

Поэт не анализирует действительность, не препарировывает ее, а самим своим существом простирается в мир, включается в бытие и — употребим рискованное суждение — узнается им. О. Мандельштам передает это так: «Узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия»⁷. Хайдеггер о том же, как о «выстаивании в бытии», чем отвечает странному на первый взгляд призыву Ницше «учиться слушать глазами». Выстаивать в бытии, значит уметь вслушиваться в его зов, «гул». Таким образом, конституирующая роль языка, идеи, Логоса, очевидна, но сам первоисточник остается неидентифицируемым. Язык, в своем высшем назначении, может стать только «домом бытия», т. е. тем, в чем само бытие устраивается и посредством слова обретает историческое существование.

Возвращаясь к Л. Витгенштейну, следует заметить, что его идея языковых игр также возникла в связи с невозможностью исчерпывающе описать условия и правила смыслопорождения. Но существует ли смысл до того, как мы вскрыли какие-то (те или иные) правила смыслопорождения? Можно даже вопрос поставить радикальнее: а существует ли какой-то один — и еще более радикально — правильный и единственно точный смысл? Исчерпывающе доказательно ответить на эти вопросы вряд ли возможно, остается представлять собственные убеждения: вне человека нет никакого (тем более единственного) смысла, так как мыслящий всегда имеет дело с до-смысленностью, которая не только во-

круг него, помимо него, но и в нем самом, в его мышлении — как возможности всякого смыслопорождения.

Что такое «до-смысленность» для поэта? Б. Пастернак пишет о ней, как о «звучащем слежке форм», предваряющем написание стихотворения: «Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это внутренний образ, это его осязает слух поэта»⁸. Образ в поэзии представляется им как «некоторое смешанное жизнеподобие, в состав которого входят свидетельства всех наших чувств и все стороны нашего сознания»⁹.

Схожим образом О. Мандельштам усматривает в начальном «досмысленном» состоянии континуум «зрения — слуха — осязания — обоняния», который задается, с одной стороны, «единым семантическим пучком» («видеть, слышать и понимать»), с другой — обеспечивается постоянным межъязыковым оборотничеством ключевых значений — слов и выражений¹⁰. О том же единстве господствующего звукосочетания пишет Вяч. Иванов в известной статье «К проблеме звукообраза у Пушкина» (1930). Слова вырастают из «коренного звукообраза», который подобен «сгустку языковой материи» и предстает особым срезом мира¹¹.

Еще в Средневековье в текстах неоплатоников, Дионисия Ариопагита, Фомы Аквинского, Мейстера Экхардта неизменно воспроизводится мотив Слова (Логоса) как творящего Божественного глагола, а составляющих его букв — как прямых рекомбинаций стихий. По-гречески алфавит и есть стихия — стахейон (σταχέιον). К той же бездонной стихии букв и цифр апеллировали средневековые каббалисты. Схожим образом и в поэтических автореференциях отмечается оккупация мышления стихией, подводящая к муке означения помысленного в слове, строке, стихотворении. Причем процесс может протекать в двух противоположных направлениях. Одно — в сторону смыслопорождения, по направлениям Божественного глагола (Логоса), который для поэта важен так же, как камертон для настройщика. Б. Пастернак:

Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

Другое направление задается возвратом помысленного к самой стихии, его обесмысливанием в онтологически исходном значении. У Рильке (в переводе того же Б. Пастернака):

Как нити ожерелья, строки рвутся
И буквы катятся, куда хотят.

3. Наука. Возможно ли определить законом, принципом, правилом, алгоритмом, спецификацией или каким-то иным дескриптивным способом рост научного знания, выдвижение гипотез, совершение открытий? Майкл Полани, признанный в мире специалист в области физической химии, психологии и социологии научного творчества, отвечает на этот вопрос категорическим «нет».

В своей работе «Личностное знание. На пути к посткритической философии» он предельно сближает деятельность ученого, совершающего открытие, с творческой деятельностью писателя, драматурга, поэта. Один из выдвинутых им тезисов так и звучит: научное знание создается искусством ученого. Открытия, прорывные идеи рождаются в непроговариваемом мыслительном слое — в «молчаливом знании», — артикуляция которого лишает его полноценности¹². Речь идет об ассимилированном знании, в «котором мы живем как в одежде из собственной кожи»: неартикулированном, безоценочном, непосредственном, без четких дифференциаций. Полани считает, что логико-вербальные формы играют в продвижении ученого к результату лишь вспомогательную роль. Явное знание всегда эксплицитное и открытое, неявное — имплицитное и сокрытое.

С позицией Полани (вербализация вовсе не является необходимым условием формирования мысли!) солидарны практически все известные ученые XX столетия, когда-либо предпринимавшие попытку заглянуть внутрь лаборатории собственной мысли. Любопытно в этом отношении переписка А. Эйнштейна с французским математиком и известным исследователем в области психологии науч-

ного творчества Ж. Адамаром. «Слова или язык, как в устной, так и в письменной форме, — пишет А. Эйнштейн, — не играют никакой роли в механизме моего мышления». «Я утверждаю, — сходным образом размышляет Ж. Адамар, — что слова полностью отсутствуют в моей голове, когда я действительно предаюсь раздумьям»¹³. Подобные свидетельства собственных ментальных состояний рассыпаны по книгам А. Пуанкаре, Ф. Гальтона, Р. Феймана, Р. Пенроуза и многих других ученых с мировым именем. Но практически отсутствуют свидетельства, в которых плодотворность мышления ученого самоопределялась бы им как производная от синтаксической конструкции языка или чего-то подобного.

Но если знание об объекте — это речь, язык, то что же тогда понимание объекта? В связке «мышление — речь», представленной логически, функция понимания переносится либо на «внутреннюю форму слова» (А. А. Потебня)¹⁴, либо на внутреннюю речь, исследование которой, осуществлялось преимущественно в психологии. Так, по Л. С. Выготскому, понимание — перевод знания (описания, наблюдения) на ментальный язык внутренней речи. Исходной точкой образования внутренней речи Выготский считал разговор заигравшегося ребенка с самим собой. По мере взросления происходило обеззвучивание, синтаксическое редуцирование. В итоге возникла сокращенная, идиоматическая, предикативная внутренняя речь взрослого человека с ее доминирующими глагольными формами¹⁵.

Но можно ли поставить знак равенства между внутренней речью и непроговариваемым мышлением? Если согласиться с этим, то, следуя концепции Л. С. Выготского, непроговариваемое откроется через последовательную реконструкцию некогда произошедшего онтогенетического обеззвучивания. В этом случае осуществить операцию прояснения искомого «молчаливого остатка», укорененного в каждом мыслящем взрослом человеке, означало бы осуществить конкретную для данного человека синтаксическую ре-

конструкцию, конечным пунктом которой будет его же детское лопотание — разговор заигравшегося ребенка, не включающего в себя факт присутствия остального мира.

Процедурно такое «просветление» внутренней речи могло бы быть представлено в виде цепочки формализаций: от выявления исходных правил формализации первичного «детского синтаксиса» через выявление правил формализации его возрастного обеззвучивания и, наконец, к определению правил формального соответствия двух синтаксисов — детского и взрослого. Такой порядок, если бы он подводил к цели, можно было бы назвать заветной мечтой логического позитивизма. К этой мечте, как и ко всем подобного рода мыслительным конструкциям, подталкивает остаточная мания генезиса — обнаружить исходный «первоатом» системы и, следуя установленным правилам, осуществить ее полную сборку-разборку.

Попытки исчерпывающей формализации применительно к моделированию мышления предпринимались в рамках сильной и слабой версий искусственного интеллекта¹⁶. Обе версии строятся на эпистемологическом допущении — все знания могут быть формализованы, а само сознание синтактично и является аналогом сложной компьютерной программы. Но понимаемое таким образом «сознание» не находит своей семантической атрибуции. И даже если оно проходит проверку на тест Тьюринга, то дезавуируется аргументом «китайской комнаты», выдвинутым Дж. Сёрлом¹⁷. Хотя аргумент «китайской комнаты» в свою очередь также был подвергнут критике¹⁸, он наглядно демонстрирует, что семантика (то, как предложения получают свое значение) внутренне не присуща синтаксису, а синтаксис не присущ физическим свойствам мозга.

Апеллируя к «непроговариваемому» мышления, следует обратить внимание на одно непреложно вытекающее из этого разговора следствие: личность ученого в науке незаменима. Нетрудно убедиться, что замена начальника ЖЭКа, ОВИРа, таможни и большинства других чиновничьих учреждений

мало что меняет по существу. Здесь, как известно, всегда выстраивается очередь из желающих. И на самом деле найдется достаточное число способных вписаться в подобную предельно специфицированную, инструктивно прописанную снизу доверху деятельность. Но совсем не просто без ущерба для самой науки заменить ученого на его научном направлении. А можно ли заменить «на другого» — поэта, писателя?

Уникальность личности ученого в науке, как известно, определяется не умением проговаривать идеи, а способностью их выдвигать. Тот же М. Полани обратил внимание на непреложный факт, что достижения в фундаментальных областях науки не являются тайной и публикуются сразу же по мере их открытия. Но от этого вовсе не уменьшился поток молодых ученых, желающих поработать хотя бы несколько месяцев в лаборатории мэтров. Не следует, конечно, приуменьшать важность дескрипции научного достижения. Но в той же степени нельзя умалять значение интеллектуально-эмоциональной межличностной связи ученых, пребывания их в уникальной атмосфере лабораторий, где генерирующие мощности интеллекта каждого достигают предельных величин. Не секрет, что для молодого специалиста встреча с личностью большого ученого по своему значению может превосходить сотни, а то и тысячи прочитанных монографий и статей.

Нельзя стать ученым, ограничив свое чтение одними учебниками. Молчаливое знание передается неконцептуализированным способом — по образцам, через подражание, с использованием остенсивных определений. Социальные эстафеты неартикулированного интеллекта осуществляются, по удачному определению М. А. Розова, *куматоидным* способом. «Кума» по-гречески — волна (κύμα). Куматоид не перекачивает знания, подобно жидкости, из одного сосуда (тезауруса) в другой, а передает по социальной эстафете *интеллектуальное возбуждение* — эмерджентно-энергетическую составляющую мыслительного процесса.

Воздействия же рационально-вербального характера несут «равнодушные» значения и не ведут к перестройке личностных установок. В книге Ричарда Феймана «Какое тебе дело до того, что думают другие» есть потрясающий эпизод. Маленький Ричард был посрамлен старшими сверстниками за отца, который, с их слов, «ничему его не учит». В частности, отец не знал, что «эта птица — коричневошейный дрозд». Однако мальчик помнил, что отец произвольно назвал ту же птицу «певчей птицей Спенсера», но запомнилось Фейману младшему прежде всего то, что последовало после произнесения вымышленного имени птицы: «Ну так вот, — продолжал Фейман старший, — по-итальянски это *Чутто Лапиттида*. По-португальски: *Бом да Пейда*. По-китайски: *Чунь-лонь-та*, а по-японски: *Катано Текеда*. Ты можешь знать название этой птицы на всех языках мира, но, когда ты закончишь перечислять эти названия, ты ничего не будешь знать о самой птице. Ты будешь знать лишь о людях, которые живут в разных местах, и о том, как они ее называют. Поэтому давай посмотрим на эту птицу и на то, что она *делает* — вот что имеет значение»¹⁹. Прогулки с отцом, по признанию самого ученого, очень рано позволили ему усвоить разницу между тем, чтобы знать название чего-то, и знать это что-то.

Из собственного опыта мы хорошо знаем, ассимиляция знания наиболее эффективна в детстве (назовем его «детское знание»), когда оно развивается первым темпом — безоценочно, наивно-созерцательно, идеально-доверчиво, путем игрового освоения окружающего мира. Заметим по ходу, что к теме детскости мышления непроизвольно подводит сам предмет исследования, а вовсе не какая-то предварительно заданная установка или схема. Второй темп («взрослое знание») реализуется по мере взросления. Это — оценивание, установление границ, оттачивание артикуляции, логическая состоятельность. Каждое интеллектуальное усилие образованного ума не может миновать ту систему отсчета, которая была сформирована первым

темпом — «детским знанием», от которого, по сути, весь эвристический потенциал мыслящего остается величиной производной.

Исследователи истории и психологии научного творчества оставили достаточно свидетельств проявления детскости великими учеными. Одно из известных свидетельств принадлежит Д. Франку, наблюдавшему за Н. Бором, когда тому дотошные слушатели задавали трудные вопросы на лекции. Н. Бор полностью «уходил в себя», а на лице его появлялось выражение «совершеннейшего и безнадежного идиотизма... он делался до такой степени неузнаваемым, что вы не рискнули бы даже сказать, будто где-то уже встречали этого человека прежде. Впору было решить, что перед вами клинический недоумок...»²⁰. У психологов давно уже утвердилось мнение, что не все у человека надо формировать, есть свойства, которые надо оставлять такими, как они есть (А. Н. Леонтьев: «Не убивать детское... Сделанная голова — голова потерянная»).

Эмоциональное переживание невыразимого является определяющим условием экстравагантности мышления ученого. «Интеллектуальная страстность» (М. Полани) — это не субъективный побочный эффект, а необходимая подоснова научного творчества, без которой любой процесс исследования потонет в тривиальностях. Свидетельств тому столько, что их трудно даже перечислить: Платон — «любовь к знанию», И. Кеплер — «священный трепет», А. Эйнштейн — «чувство интеллектуальной любви»...

4. Философский катафасис. Непроговариваемое в своем предельном философском значении есть *непостижимое*. Поставленная перед словом «постижение» частица «не» вовсе не означает отказ от постижения, а указывает на наличие какой-то принципиальной границы. Эту границу можно переступить, показательно игнорировать или не замечать вовсе, нельзя осуществить только одного — упразднить ее действительное существование.

В двухтысячелетней традиции христианства «пограничье» осмыслялось апофати-

чески и катафатически (по-гречески *апофасис* — отказ, отрицание; *катафасис* — утверждение, приятие, включение). Осмысление непостижимого в европейской философской традиции принадлежит Плотину, Николаю Кузанскому, М. Хайдеггеру и др., в отечественной философии — С. Франку, Н. Бердяеву, Н. Лосскому и др., в наше время — В. Бибихину, А. Ахутину и др.

Философия здесь предстает как искусство открытия «не-знания», как знание о незнании. Из-умление предворяет искусство открытия не-знания. По Платону, акт неподдельного философствования начинается с удивления, обнаружения способности узреть диво (чудо) в «ничегооособенном» для других. Изумляться в исходном смысле означает утрачивать приспособительное умственное состояние при столкновении с тем, что это инструментальное умственное состояние не может через себя передать, выразить, переварить. С такой немислимостью человек сталкивается в самом простом и естественном — в том, что светит Солнце, что все живое рождается и умирает, что я сейчас, в этот момент времени, пишу эту статью... И это все есть диво, чудо. Способность *вне-нахождения*, как пребывания вне утилитарного состояния мысли и языка, в своем первоисточке и есть прерогатива ребенка. У взрослого человека эта способность всегда подводит его к постоянной компрометации всего предшествующего инструментально-приспособительного опыта жизни.

Так же, как богословский апофатизм отличается от апофатизма философского, внутренний катафасис мысли отличается от катафасиса культурного, с его логической определенностью, нацеленностью на общезначимость. Во внутреннем катафасисе происходит столкновение мыслящего с немислимостью (непостижимым). В сказанном ровным счетом нет никакой мистики. Это состояние присутствия непостижимого в себе и в мире знакомо практически каждому, кто хоть однажды взял на себя груз ответственного мышления. Другое дело, что сам факт встречи с непостижимым люди не всегда

склонны доводить до ясного свидетельства своего сознания. Иначе говоря, в философском опыте внутреннего катафасиса присутствует не смиренное признание своего невежества, а дотошная основательность в незнании. Такая, как, например, у Николая Кузанского («Ученое незнание»), или С. Франка («Непостижимое»), или вопрошающего «что значит мыслить?» М. Хайдеггера.

Такое незнание всегда умное, умелое, искусенное, ученое — знающее незнание. Оно, как пишет А. Ахутин, всегда за проницаемой перегородкой²¹. Во времени историческом, в разворачивании какой-то личной философской судьбы непостижимое всегда обретает свой неповторимый образ и смысл. Этот смысл нуждается в языке и может обрести свой язык. Если же обретение по каким-то причинам не состоялось, смыслопорождение умирает в самом носителе, забывается в нем же и удаляется «в чертог теней». Как это произошло с мандельштамовой ласточкой, вылетевшей на свет, но так и не нашедшей нужного слова.

Итак, непостижимое только дает о себе знать. Философ доводит его до свидетельского показания своего сознания. Но выказать его он может только в языке обновляемом, как это делали Ф. Ницше, М. Хайдеггер, В. Бибихин²². Что-либо рассказать о непостижимом объекте мысли в понятиях прошлых систем невозможно, поскольку применение прежних терминов неосознанно приводит к принятию предпосылок прошлых мыслительных схем, уже формализованных до общезначимости. Поэтому неисключенному философией читателю так трудно даются тексты М. Хайдеггера. Они раздражают его «неуместным» словотворчеством, всеми этими «поставами», «не-задачами», «выстаиваниями». Аналогично можно сказать о Ж. Баттае с его скандальным стремлением написать «последнюю книгу», после которой была бы невозможна всякая книга.

Действительный объект и предмет мысли в опыте обращения к внутреннему катафасису — не-узнанное, не-постижимое и, в известном смысле, *бес-толковое*, в значении

ограничения языка, не-возможности исчерпывающе высказать (от англ. *talk* — разговаривать). Стремление исчерпать смысл чего-либо разговором о нем оборачивается, при должной последовательности и критичности, столкновением с бес-толковостью — как в самом говорящем, так и в предмете разговора. Не случайно, что базовая коннотация слова «проговорить», подводит вовсе не к значению исчерпания смысла. «Проговорить» означает выпустить (равно — не впустить в себя) нечто важное в предмете разговора — «все дело проговорили, проболтали».

Иное смысловое наполнение приобретает «об-говаривание». Это кружение *вокруг* потаенного, в доступном для формализации языка смысловом пространстве. Обговаривать вопрос, — значит переносить рефлекссию на явленную часть предмета (замечу, что мы никогда не обговариваем бытие или сущность), на проявление той или иной формальной стороны дела, условий, правил или чего-то подобного. Об-говаривание в деле философии — третьестепенная по важности задача. Это разговор об очевидности, которая почему-то должна стать еще более очевидной. Но основной недостаток разговоров об очевидном в том, что они разворачивают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 7.

² Бродский И. Нобелевская лекция. 1987 // Стихотворения. Таллин, 1991. С. 17.

³ Мамардашвили М. К. Дьявол играет нами, когда мы мыслим неточно // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 126–142.

⁴ Mauthner F. Beitrage zu einer Kritik der Sprache. 1–3 B. I. Stuttgart, 1901–1902. S. 3–5.

⁵ К примеру, положение о том, что «язык подобен правилу игры, которое тем принудительнее, чем больше игроков ему следует», обнаруживается у всех трех авторов.

⁶ «Мышление же есть стихослагание истины бытия в исторически-былом собеседовании

мыслящих»... «Мышление должно стихослагать над загадкой бытия» (Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге : сб. : пер. с нем. / под ред. А. Л. Доброхотова. М., 1991. С. 67, 68).

⁷ Мандельштам О. Э. Собр. соч. : в 4 т. М., 1996. Т. 3. С. 130.

⁸ Пастернак Б. А. Собр. соч. : в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 215.

⁹ Там же. М., 1992. Т. 4. С. 412.

¹⁰ См.: Мандельштам О. Э. Собр. соч. М., 1996. Т. 3. С. 185.

¹¹ См.: Иванов В. И. Собр. соч. : в 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 345.

¹² См.: Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 103–192.

¹³ Адамар Ж. Исследование психологии процессов изобретательства в области математики. М., 1970. С. 16.

¹⁴ См.: Потенция А. А. Мысль и язык // Потенция А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 97.

¹⁵ Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: в 6 т. М., 1982. Т. 2.

¹⁶ См.: Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара, 2001; Moravec H. Mind children: the future of robot and human intelligence. Harvard University Press, 1989; Fodor J. A. The modularity of mind. MIT Press, Cambridge, Mass. 1983.

¹⁷ Сёрл Дж. Открывая сознание заново / пер. с англ. А. Ф. Грязнова. М., 2002. С. 61.

¹⁸ По мнению британского математика Роджера Пенроуза, предложенный Дж. Сёрлом контраргумент «китайской комнаты» хоть и убедителен, но не является решающим. См. подробнее: Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики : пер. с англ. 2-е изд., испр. М., 2005. С. 50–59.

¹⁹ Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? Ижевск, 2001. С. 15.

²⁰ Цит. по кн.: Данин Д. С. Вероятностный мир. Жизнь замечательных идей. М., 1981. С. 76.

²¹ См.: Ахутин А. В. Дело философии // Архэ. Ежегодник культурологического семинара. Вып. 2. М., 1996. С. 57–122.

²² См.: Бибихин В. В. Язык философии. М., 2002.